

От автора

Март 1992 года

За исключением, вероятно, самой той персоны, у которой берут интервью, нет никого более предсказуемого, чем интервьюер, и, по моему личному опыту, они делятся на две категории, можно даже сказать — на две возрастные группы. Те, кому перевалило за сорок, нервно поглядывают на мои седины и в той или иной форме допытываются: долго ли я еще протяну? Не достигшие сорока и еще лелеющие надежду, что сами в будущем могут стать писателями, неизменно интересуются: как я начинал? Поскольку «Звонок покойнику» был моей первой книгой, я не стану здесь отвечать на вопрос старших, ответа на который у меня нет все равно, и расскажу о начале своего пути в литературе.

Я начал писать, потому что сходил с ума от скуки. Не от той апатичной, ленивой скуки, которая мешает вставать по утрам с постели, а от бессельных метаний, гонки по замкнутому кругу в поисках стоящего занятия, которого не мог для себя найти. Я попробовал роль учителя для «отстающих» детей, и, как выяснилось, у большинства из них проблема была та же: они страдали от невыносимой скуки. В классе они садились на задние парты и изнывали от тоски. Я попытался преподавать в Итоне, но там я часто чувствовал себя моложе своих учеников и так же, как и они, имел потребность в хорошем наставнике. И, уж конечно, меня не радовала перспектива, которую я видел в конце длинного коридора жизни: директор школы к сорока, выход на пенсию

в шестьдесят, уютный домик в Девоне, и единственное желание — Боже, даруй мне спокойный сон в эту славную ночь.

Преподавательскую деятельность во время школьных каникул я пробовал совмещать с работой художника в коммерческой рекламе, но тоже без особого успеха. Чтобы труд приносил удовлетворение, все, что я рисовал или писал, должно было по меньшей мере объяснять смысл жизни. Но много ли возможностей вложить душу в творчество, когда ты всего лишь оформляешь суперобложки для детских книг, получая по восемь фунтов за штуку?

Что до писательства, то, если не считать детских стихотворений, я за все те годы создал только одно произведение. Пока я еще преподавал в Итоне, издательство «Бодли хед» попросило меня написать экзаменационный текст для чтения на немецком языке, рассчитанный на студентов со средним уровнем подготовки. И я написал для них рассказ об уличном художнике, который в один прекрасный день создал пастелью на мостовой пешеходной зоны Трафальгарской площади подлинный шедевр: «Мону Лизу». Даже лучше. И он знал. Надвигался дождь, наступали часы пик. Никакого фиксатора у него не было. А плиты мостовой принадлежали не ему, а городскому совету. Задним числом я понял, что написанная мной история могла послужить прямой метафорой к моему собственному нереализованному таланту, пусть я и не знал, в чем именно он заключался, который не хотели замечать спешащие по своим делам люди. Надо ли говорить, что рассказ совершенно не соответствовал тем целям, которые поставили передо мной редакторы «Бодли хед», и они его завернули. Годы спустя Грэм Грин, который публиковался в «Бодли хед» и был у них кем-то вроде директора на общественных началах, написал мне письмо с предложением сотрудничать с ними. Но вот вам характер типичного писателя: я их не простил за первый отказ и не прошу никогда.

Уйдя из учителей, я вновь вернулся в коридоры власти Уайтхолла и уже скоро работал в одном страшно секретном здании Уэст-Энда, хотя каждый лондонский таксист знал, что в нем располагалась МИ-5 — государственная британская служба контрразведки. Пять дней в неделю я вставал в шесть утра, завтракал, совершал получасовую прогулку до вокзала в Грейт-Миссендене,

городке, где я тогда жил, шестьдесят пять минут ехал поездом до Марилебон, а оттуда автобусом добирался до Леконфилд-Хауса на Керзон-стрит, где на входе показывал пропуск. После работы я возвращался тем же путем, но частенько оказывался дома с верной женой и маленьким сыном не раньше десяти или одиннадцати вечера.

Мир, окружавший меня в Лондоне, был миром, состоявшим исключительно из бумаг. Секретная служба держится на досье, я стал одним из пехотинцев той армии, которая их составляла. Подобно Бобу Крэтчиту* в его каморке, я упорно трудился с утра и нередко до позднего вечера над личными делами людей, с которыми никогда не встречался: можем ли мы доверять ему? Или ей? Могут ли им доверять их работодатели? Может ли он стать предателем, шпионом, отчаявшимся одиночкой, может ли быть путем шантажа завербован нашими неразборчивыми в средствах врагами? Таким образом, я, который до сих пор не повзрослел настолько, чтобы разобраться в себе самом, получил поручение выносить суждения о поведении и личной жизни других людей. При этом я совершенно не разбирался в том, как устроен реальный мир, — мне был ведом только свой. Единственными ключами к пониманию чужих характеров служили черты моей собственной натуры. А поскольку натурой я был многогранной, то воображаемые мосты, которые я возводил между собой и моими бумажными подозреваемыми, неожиданно создали мне репутацию толкового работника, умеющего видеть и ясно излагать материал. На самом деле это совершенно не соответствовало действительности. Я занимался лишь тем, что лепил якобы реальные человеческие характеры из такой скудной глины, как данные прослушки телефонных разговоров, перлюстрации и донесения агентуры. Все остальное мои подозреваемые получали от меня лично. Трудно назвать подобную работу добросовестной, но среди окружавшей меня посредственности даже она легко сходилась за таковую. И, как выяснилось, стала превосходной подготовкой к дальнейшей карьере, которую тогда сознательно я все еще для себя не избрал: а именно — к писательству.

* Боб Крэтчит — персонаж книги «Рождественские истории» Ч. Диккенса. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Гораздо позже я понял, что романист воспринимает своих персонажей с тем же завуалированным непониманием, с каким ребенок относится к взрослым. Он рассматривает их с такой же смесью отстраненности и подозрительности, с такой же болью и удивлением, которые перемежаются со вспышками изменчивой любви. И, наблюдая за ними, он заносит каждого в свой тайной бестиарий, чтобы мысленно восхищаться ими, подражать им или же отвергать и даже наказывать. Скрытый от посторонних глаз мирок контрразведки создает своим обитателям удивительно благоприятную среду для сохранения подобного детского восприятия. Внутри своих стен мы, молодые сотрудники, ощущали себя вполне сформировавшимися, зрелыми людьми. Но стоило выпустить нас в среду по-настоящему взрослых людей, как мы терялись, словно несмышленные дети.

Именно об этом в «Звонке мертвецу» Эльза Феннан говорит Джорджу Смайли при их первой встрече.

Однако, помимо своих бумаг и досье, я, конечно же, был окружен коллегами и никогда не встречал более странного сообщества людей. Мир секретных служб так же реален, как и обычный мир, но, как сказал Кестлер* про мир евреев, еще более реальный. Наделавший потом много шума Питер Райт** тоже ведь ходил одними с нами коридорами и, вероятно, как я сам, подсознательно готовил себя к будущей карьере литератора. Наши начальники ненавидели друг друга по причинам, о которых нам не положено было знать. Но еще больше они ненавидели вторую спецслужбу, приходившуюся нам родной сестрой, — МИ-6 — главное разведывательное ведомство Великобритании. Они, кроме того, ненавидели политиков, коммунистов и очень многих репортеров. Как теперь всем известно, они ненавидели премьер-министра Гарольда Вильсона и его «кухонный» кабинет. Нервная обстановка в нашем учреждении порой просто пугала. Люди, которые еще вчера работали с тобой бок о бок, могли назавтра исчезнуть. Были они уволены или отправлены куда-либо с секрет-

* Кестлер, Артур (1905–1983) — британский писатель и журналист, уроженец Венгрии, еврейского происхождения.

** Имеется в виду бывший офицер МИ-5, автор скандальной книги «Ловец шпионов».

ной миссией, нам опять-таки не дано было знать. Как правило, их все же увольняли. Из этих таинственных появлений и исчезновений коллег я позднее соткал историю Алека Лимаса в «Шпионе, пришедшем с холода», чье увольнение оказалось хитроумной уловкой. Увы, на деле все обстояло куда проще. Большие мастера своего дела соседствовали с вопиюще некомпетентными сотрудниками, и, будучи новичком, ты никак не мог предвидеть, с чем столкнешься в следующий раз.

Поначалу тебе даже казалось, что дураки только разыгрывают из себя дураков, участвуя в какой-то тонко задуманной обманной операции. Или что на самом деле существует какая-то другая, настоящая и эффективная секретная служба. Позже в своих произведениях я именно такую службу и выдумал. Но, к сожалению, реальность оборачивалась сплошной посредственностью. Полицейские из бывших колоний, смешиваясь с неудачниками-учеными, неудачниками-юристами, неудачниками-миссионерами и потерпевшими крах светскими львицами, способствовали тому, что в нашей прославленной столовой царила атмосфера пикника для ветеранов. От каждого слегка пахло пережитыми неурядицами. И только со временем я понял, что наша служба все же обладает собственным лицом, а у всех выработалась общая привычка: встретиться с тобой взглядом, потом отвести глаза в пол, затем в сторону — взгляды тянулись к тебе, а потом сразу все же отторгали. Изолированность и замкнутость в себе каждого из нас напоминала странные пузыри на картинах Иеронима Босха — заключенным в них людям не дано слиться в поцелуе или прикоснуться к другим. Об этом я тоже много позже написал в «Секретном пилигриме».

Вероятно, нас до такой степени разобсал сам секретный характер нашей работы, ощущение, что ты знал больше или (Боже, сохрани) меньше, чем твой коллега. Именно тайны были нашей валютой, и человек, владевший наибольшим количеством информации, чувствовал и наибольшее довольство собой. Только временами, посещая студии Би-би-си или получая приглашения на приемы в «великие» британские газеты, я ощущал атмосферу такого же взаимного недоброжелательства и зависти.

Но для человека, в котором подспудно и еще неведомо для него самого созрел будущий писатель, не было ничего лучше, чем эта тоскливая обстановка мира спецслужб.

Окончательно подтолкнул меня к занятиям литературой Джон Бингем — здесь нет никаких сомнений. Джон внешне несколько походил на Смайли и писал свои детективы в обеденные перерывы. Позже — и не совсем по своей вине — он стал графом, чего я не простил бы ни одному человеку, обладающему чувством юмора. Но он оставался хорош в любой роли — графа или шпиона: добрым, любезным, проницательным человеком, бывшим журналистом, бывшим членом контрольной комиссии. Профессионалом разведки до мозга костей. И он живо напоминал человека, оказавшего на меня еще большее влияние на раннем этапе жизненного пути: Вивиана Грина, который начинал капелланом в моей средней школе и триумфально увенчал профессиональную карьеру постом ректора Линкольн-колледжа в Оксфорде. Если у меня когда-то и был исповедник, то это Грин, а Джон Бингем с его рассеянной манерой поведения, но с чрезвычайно острым взглядом и с чутким слухом стал для меня его заменой на секретной службе. Но если Вивиан Грин создавал научные трактаты об Уэсли и о поздних Плантагенетах, то Бингем писал беллетристику и делал это у меня на глазах.

Его примера для меня оказалось более чем достаточно. Я был уже готов попробовать сам. И меня нисколько не удивляет, что, создавая в воображении своего главного героя Джорджа Смайли, я придал ему частичку мудрости Вивиана Грина наряду с глубокими научными познаниями, но в то же время наделил такими чертами Бингема, как недюжинная изобретательность и, в конце концов, элементарный патриотизм. Ведь любой литературный персонаж представляет собой сплав, составляющие которого авторы черпают из куда более глубоких источников, чем характеры людей, которых они встречают в реальной жизни. Каждый герой книги, подобно несчастным подозреваемым из моих досье, подвергается рихтовке и обработке авторским воображением, пока не становится, вероятно, в большей степени похож на него самого, чем на кого-либо другого. Но теперь, когда Бингем уже умер и превознесен до небес самозванными историками секретной службы, будет только справедливо, если и я отдам ему долг не просто как прототипу Джорджа Смайли, но и как человеку, который высек искру, пробудившую к жизни мотор моей литературной карьеры.

Я писал в дешевых ученических тетрадках. В поездах из Грейт-Миссендена и обратно, во время обеденных перерывов, в серые предутренние часы перед отъездом на работу. Энн — в то время моя жена — перепечатывала написанное; жили мы бедно, но брали напрокат пишущую машинку «Оливетти» за несколько шиллингов в неделю. Причем писал я, что называется, сразу набело, не утруждая себя продумыванием будущих сюжетов, схемами и предварительными набросками. При этом я не имел ни малейшего понятия, куда эта писанина пойдет. Но у меня был Смайли и ящики с досье на мужчин и женщин, которых по долгу службы я в чем-то подозревал, хотя никогда не встречался с ними лично. И еще у меня оставалась в памяти маленькая француженка, лежавшая с переломами в больнице, когда вскоре после войны я отправился кататься на горных лыжах в Шамони. Мы жили с ней в одном отеле, и, когда управляющий сообщил, что она сломала себе обе ноги, я счел своим долгом навестить ее.

Она лежала на спине с ногами на вытяжке, миниатюрная женщина лет пятидесяти с короткими, обесцвеченными перекисью водорода волосами и с большими губами, нарисованными помадой поверх на самом деле маленького и тонкогубого рта. Она со смехом рассказала мне, что всю войну сражалась в рядах Сопротивления. Ее забрасывали на парашюте в различные районы Франции бесчисленное число раз — она уже и не помнила, сколько именно. И она никогда ничего себе не ломала. Для этого нужно было отправиться кататься на лыжах! Снова смех. А волосы! — взволнованно начала объяснять она. Ее волосы, как она теперь опасалась, так уже никогда и не отрастут. Последний военный год она провела в концлагере, рассказывала женщина, словно речь шла о каникулах на Ривьере. И там, конечно же, всем обривали головы наголо. У многих волосы тут же снова начинали нормально расти, но только не у нее, говорила она все с тем же самоуничижительным смешком. Чего она потом только не перепробовала — мази, лосьоны, кремы, порошки, но все тщетно. Потом скопировал с нее свою Эльзу Феннан.

Когда книга была закончена, я начал опасаться, что у меня начнутся проблемы. Я, разумеется, ни с кем не советовался, насколько уместно писать шпионский детектив, находясь на службе в разведке, а теперь, как я слышал, каждый новый сотрудник

дает обязательство ничего подобного не делать и только при таком условии получает работу. Кроме того, я был осведомлен, что у моего ведомства достаточно негласных связей и влияния, чтобы положить под сукно любое сочинение, не получившее официального одобрения. А потому я послал рукопись нашему юридическому советнику Бернарду Хиллу, который всегда казался мне самым скучным человеком даже в нашей компании скучнейших в мире людей, и, представьте, уже через пару дней он вернул мне книгу с запиской, где говорилось, что он получил от чтения огромное удовольствие. Хилл попросил меня внести лишь одно изменение, на что я охотно пошел. Причем речь шла не об угрозе безопасности — просто он посчитал, что один из пассажей может быть сочтен клеветническим. Он также посоветовал мне взять псевдоним. Посасывая трубку, Хилл заявил, что это будет умным ходом с моей стороны, и пожелал удачи.

Затем, когда издатель Виктор Голланц, принял рукопись в печать, я спросил, какой псевдоним мне выбрать. Он рекомендовал, что-нибудь короткое и англосаксонское. Например, Чанк Смит или Хэнк Браун. Но я решил стать Ле Карре. Одному Богу известно, почему и откуда я взял эту фамилию, но совет Голланца не пришелся мне по душе. Когда репортеры достают меня вопросами на эту тему, я говорю, что увидел такую фамилию на вывеске магазина, когда ехал в лондонском автобусе. Это не так. Я не знаю, откуда она взялась. И впредь не забывайте: нельзя верить писателю, когда он утверждает, что говорит вам чистую правду.

Глава 1

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЖОРДЖА СМАЙЛИ

Когда леди Энн Серком ближе к концу войны вышла замуж за Джорджа Смайли, она объясняла свой поступок изумленным подругам из светских кругов Мейфэра тем, что будущий супруг показался ей неотразимо заурядным. Когда же два года спустя она бросила его и сбежала со знаменитым кубинским автогонщиком, то сделала загадочное заявление. Дескать, если бы она не ушла от него сейчас, то не смогла бы уже никогда. По такому случаю виконт Солей специально отправился в свой клуб, где язвительно заметил, что кот наконец сбежал из мешка. В том смысле, что тайное стало явным.

Эта ремарка какое-то время считалась одной из самых удачных остроумцев сезона, хотя понять ее смысл до конца могли только те, кто знал Смайли лично. Низкорослый, полноватый, по натуре невозмутимый, он тратил немалые деньги на очень плохие костюмы, которые сидели на его приземистой фигуре как сморщенные шкурки на жабе. Между прочим, еще во время свадьбы тот же Солей шутил, что «Серком выходит замуж за бойцовую лягушку в зюйдвестке». А бедняга Смайли, не слышавший этого злого сравнения, на глазах у всех проковылял по центральному

проходу церкви, чтобы получить поцелуй, так и не превративший его в прекрасного принца.

Был ли он состоятелен, крестьянского или духовного сословия? И вообще, где она такого откопала? Очевидность мезальянса только подчеркивалась несомненной красотой леди Энн, а его загадочность усугублялась диспропорциями телосложения жениха и невесты. Но ведь сплетня все окрашивает в черно-белые тона, награждая своих героев любыми грехами и странными мотивами, которые легко укладываются в стенографический стиль салонной болтовни и еще легче забываются. А потому Смайли, не окончивший дорогой частной школы, не имевший знатных родителей, не служивший в королевской гвардии, не будучи ни богат, ни беден, скоро оказался в хвосте мчавшегося вперед экспресса светской жизни, а после того, как развод стал свершившимся фактом, остался пылиться, как чемодан, забытый в камере хранения на полке утративших актуальность вчерашних новостей.

Впрочем, отправившись за своей звездой автогонок на Кубу, леди Энн еще не раз вспоминала Смайли и с невольным восхищением тайно признавала, что если в ее жизни и присутствовал настоящий мужчина, то это был именно он. Еще позже она ставила себе в заслугу, что продемонстрировала понимание этого, сочетавшись с ним священными узами брака.

Эффект, произведенный отъездом леди Энн на ее бывшего мужа, не представлял интереса для светского общества, которое быстро забывает сенсации. И все же интересно, что подумал бы Солей и ему подобные, если бы могли наблюдать реакцию Смайли на события, видели его мясистое лицо с очками на носу и глаза, внимательнейшим образом вчитывавшиеся в строки стихов второстепенных немецких поэтов, а также то, как он стискивал при этом в кулаки плотные и потные ладони под чересчур длинными рукавами рубашки? Но Солей лишь отмахнул-

ся, выдав по сему случаю очередной каламбур: «Partir c'est courir un peu»*, — и его совершенно не волновало, что в то время, как леди Энн просто сбежала, какая-то часть души Смайли действительно умерла.

А та часть, что уцелела, казалась такой же несовместимой с его внешними данными, как любовь к красивой женщине или увлечение непризнанными поэтами. Речь о его профессии офицера разведки. И свою работу он очень ценил. Она имела еще и то преимущество, что окружавшие его коллеги отличались в массе своей таким же спокойствием и невзрачной внешностью, как и он сам. Секретная служба открывала перед Смайли возможность заниматься тем, что давно казалось ему увлекательнейшим делом на свете: исследовать таинственные свойства человеческого поведения и проверять на практике умозрительные дедуктивные выводы, что весьма благоприятно сказывалось на дисциплине мышления.

Где-то в двадцатых годах Смайли окончил не слишком престижную школу и объявился в сумрачных коридорах столь же заштатного колледжа в Оксфорде. В то время он мечтал лишь о должности младшего научного сотрудника и о жизни, посвященной никому не известным пиитам Германии XVII столетия. Но куратор Смайли, знавший, что тот способен на большее, мудро не позволил ему потратить время на получение скромных почестей ученого мужа, которые он, несомненно, с течением времени заслужил бы. А потому приятным июльским утром 1928 года озадаченный и слегка раскрасневшийся Смайли предстал для собеседования перед советом директоров Комитета по научным исследованиям за рубежом — организации, о существовании которой прежде не знал. Джебеди (тот самый куратор) был странно уклончив, отвечая на вопросы:

* Намеренно искаженное французское выражение: расставание — это маленькая смерть.

— Поговори с этими людьми, Смайли. Ты можешь им подойти, а платят они достаточно мало, чтобы твоими будущими коллегами стали вполне достойные парни.

Но Смайли был раздражен и не скрывал этого. Его в первую очередь обеспокоило именно то, что Джебеди, обычно предельно откровенный, напустил столько тумана. Но после короткой перепалки скрепя сердце согласился повременить с ответом колледжу Всех Святых и встретиться сначала с «таинственными людьми», которым его рекомендовал Джебеди.

Членов совета ему не представили, но половину из них он узнал, поскольку видел раньше. Там был Филдинг — специалист по эпохе Средневековья из Кембриджа, Спарк из школы восточных языков и Стид-Эспри, ужинавший за Высоким столом в тот вечер, когда Смайли пригласили туда как гостя Джебеди. Смайли мысленно признал, что состав совета произвел на него изрядное впечатление. Необходимо было по меньшей мере чудо, чтобы тот же Филдинг покинул свой факультет, не говоря уж о Кембридже. Позже Смайли неизменно вспоминал о том собеседовании как о своеобразном и забавном танце, продуманной последовательности па, каждое из которых давало чуть больше информации и приоткрывало что-то новое в деятельности загадочной организации. Закончилось тем, что Стид-Эспри сдернул последний покров тайны и правда предстала во всей своей поразительной наготе. Ему предлагали работу в ведомстве, которое Стид-Эспри, подыскав наиболее благозвучное определение, несколько смущенно назвал «секретной службой».

Смайли попросил время на размышления. Ему дали неделю. О жалованье речь не заходила вообще.

В ту ночь он остался в Лондоне в довольно-таки приличном отеле и даже отправился в театр. В голове царил поразительная легкость, что его немного встревожило. Он знал, что примет предложение, что мог ответить согласием сразу

же после встречи с советом директоров. Только инстинктивная осторожность и, возможно, прощительное желание подразнить Филдинга не позволили ему сделать этого.

Вслед за одобрением его назначения последовала подготовка: сельские усадьбы без названий, инструкторы, не называвшие своих имен, многочисленные разъезды и надвигающаяся перспектива еще более дальней поездки с фантастической возможностью работать в полном одиночестве.

Его первое оперативное задание оказалось даже относительно приятным: командировка на два года на должность *englischer Dozent** в провинциальный университет Германии: лекции о творчестве Китса и каникулы в баварских охотничьих домиках с группами серьезных и абсолютно неразборчивых в связях немецких студентов. Под конец каждого из длительных каникулярных периодов он даже привозил некоторых с собой в Англию, уже пометив вероятные кандидатуры и тайно переправив на явочный адрес в Бонне свои рекомендации, но при том за все эти два года он так и не узнал, прислушивался ли кто-то к его отзывам или же их полностью игнорировали. У него не было даже возможности выяснить, разговаривал ли кто-нибудь с отобранными им кандидатами. Да что там — он не ведал даже, доходили ли его секретные донесения до адресата, поскольку не вступал ни в какие контакты со своим департаментом во время кратких визитов на родину.

Выполняя эту работу, он испытывал противоречивые, порой плохо уживавшиеся друг с другом эмоции. С одной стороны, было занятно, заняв позицию стороннего наблюдателя, оценивать то, что его научили называть «агентурным потенциалом» человека; разрабатывать собственные тонко продуманные тесты на проверку черт характера и возможные линии поведения, которые давали информацию о пригодности или непригодности кандидатуры.

* Английского доцента (*нем.*).